

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

1

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью волхва и одесского ньютона-математика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно-малых. Закон спасения Веньямин Федорович видел в черепаших темпах. Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом старался задержать опасное течение болезни.

Наличие профессора, да еще математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывало всеобщее удовлетворение.

Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, будто болезнь заразна, прилипчива — вроде скарлатины — так что и его — Исаю Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился бы по Москве наобум, без всякого плана, воображая, что таков ритуал.

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши — маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним — Исаем Бенедиктовичем. Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исаю Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшись через переводчика Исаю к Анатолю Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавливая себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла.

Исай Бенедиктович был хорош только в самом начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его в Петербург.

Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, почему взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, с зачесанными височками стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришептывающих архангелов насаждает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы, подталкивают друг друга и придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда кучерявого придержим, мы покуда вокруг попляшем...

Что это? Жанрковая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет, это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, мы покуда вокруг попляшем...

— Вдарь, Васенька, вдарь...

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех. Кто эта безмужница? — Легкая кавалерия...

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животнотрусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежащим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москва-реке, так наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене масло жмут: — Эй, навались, жми, да так, чтобы не видно было того самого, кого жмут, — таково освященное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбар рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у нее укороченная, и грубый башмак-протез напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филиппыча разболелись зубы. Филипп Филиппыч не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихачахо-зайственика Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жиды с лягушкой венчают, то есть происходит

непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, с парным для него из той же бани нечистым — московским редакторомгро-бовщиком, изготавливающим газетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном бумажным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия — январю, февралю и марту... Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и радрадешенок, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

4

Я поступил на службу в газету «Московский Комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было двенадцать пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор.

Днем я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москва-реки зальют ученую Крапоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки прямо на улице из горлышка бутылки.

Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам, и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на другую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или у выпущенных из тюрьмы.

5

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено
Все ущелье криком сокола —

вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы запроданы рябому чёрту на три поколения вперед.

Вот это литературная страничка. У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к чёрту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой «жиллет».

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жиллет режет как траваосока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного чёрта с просверленной дырочкой в середине.

Пластиночка бритвы жиллет — изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.

7

Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами как яичница, где ходит сарт с бараными глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян, муравьиный нарком земли армянской, этой младшей сестры земли иудейской. Он прислал мне телеграмму.

Умер мой покровитель — нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома. Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его секретарям в армянский особняк на самой чистой, посольской улице Москвы. Я чуть было не поехал в Эривань с командировкой от древнего Наркомпроса читать круглоголовым юношам в бедном монастыре-университете страшный курссеминарий.

Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с черной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зощенко и я бы радовался как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой.

8

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам...

Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец, филолог с головенкой китайца — этакий ходя, хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку давленника Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого, в Шанхай его — к китаёзам — там ему место! Чем была матушка филология и чем стала... Была вся кровь, вся непримиримость, а стала псякрев, стала всестерпимость...

9

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с Бассейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же глупо, как от велосипеда или от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив и в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из Уленшпигеля: «Пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на свете мук сильнее муки слова»... Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана, какие-то призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство — как мы могли тогда жить! — крупные слезы наворачиваются на глаза... Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему Руку.

Дяденька Горнфельд, зачем ты пошел жаловаться в Биржевку, то есть в Вечернюю Красную Газету, в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом...

10

У Николая Ивановича есть секретарша — правда, правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.

Вот эта беляночка — настоящая правда с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та другая правда — та жестокая партийная девственница — правда-партия...

Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти как тяжелобольного.

11

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите занести в протокол!.. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу. Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса... Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах, предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, вечную память, вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда.

Папа, папа, папочка,
Где же твоя мамочка?
Черная оспа
Пошла от Фоспа.
Твоя мама окривела,
Мертвой ниткой шьется дело...

Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме...
Вы, как хозяин, в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность... Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!

12

На каком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немытых романее и сколько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно сияясь меня обучить своему единственному ремеслу, единственному искусству — краже.

Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если его хозяин француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски: «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

13

Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил.

Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородатые взрослые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной.

И все было страшно, как в младенческом сне. *Nel mezzo del'cammin di nostra vita* — на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе, и она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство ЗИФ не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади: плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных листов.

15

Уважаемые романее с Тверского бульвара, мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, повестках от судебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно: звук, новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому подчас любопытно: что это я все не так делаю. Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается?.. Долго ли он еще будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут — другие с каждым днем все почтеннее а я наоборот — обратное течение времени.

Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас, как ни в чем не бывало, снова начинаю изворачиваться — и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал, и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету сил. В карманах дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В-третьих, я подписал с Вельзевулом или ГИЗ'ом грандиозный, невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанной горчицей с перцем — наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, оторвать в четверном размере все незаконно присвоенное и шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немислимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю — никак не могу привыкнуть — какая честь! Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал!.. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак! Французику — шер-мэтр, дорогой учитель, а мне: Мандельштам, чеши собак! Каждому свое.

Я — стареющий человек — огрызком сердца чешу господских собак — и все им мало, все им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была, а я в одной персоне и лошадь, и цыган...

Жестяные повесточки под подушечку... Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек вместо свечечек...

16

Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы крутил мельничьи жернова, все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же быть с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд это — брюссельское кружево, в нем главное — то на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет, он мне в стаж не зачитывается.

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем Саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда Гум'ы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ходят Ленин с Троцким в обнимку, как ни в чем ни бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое — один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец-шарманщик с шубертовским леерка-стенном, такой неудачник, такой шаромыжник... Ich bin arm. Я беден.

Спи, моя милая... Эм-эс-пэ-о...

Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки... Дайте Цека...

Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm — я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака лает, ветер носит.